

The book cover features a stylized fountain pen nib pointing upwards, centered in the composition. Above the nib is a series of concentric, semi-circular arcs in a dark color against a light background, resembling a rainbow. The lower portion of the cover is a deep red color, overlaid with a detailed, high-contrast black and white engraving of a historical scene, likely from the 18th century, showing figures in period dress. A large, light-colored, irregular shape frames the text in the center.

Кирилл Осповат

Придворная СЛОВЕСНОСТЬ

Институт литературы
и конструкции
абсолютизма в России
середины XVIII века

Интеллектуальная история

Кирилл Осповат

**Придворная словесность:
институт литературы и
конструкции абсолютизма в
России середины XVIII века**

«НЛО»

Осповат К.

Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века / К. Осповат — «НЛО», — (Интеллектуальная история)

ISBN 978-5-44-481405-5

Институт литературы в России начал складываться в царствование Елизаветы Петровны (1741–1761). Его становление было тесно связано с практиками придворного патронажа—расцвет словесности считался важным признаком процветающего монархического государства. Развивая работы литературоведов, изучавших связи русской словесности XVIII века и государственности, К. Осповат ставит теоретический вопрос о взаимодействии между поэтикой и политикой, между литературной формой, писательской деятельностью и абсолютистской моделью общества. Как авторитетные представления о поэзии, принятые в Европе, повлияли на сочинения русских авторов елизаветинского времени—Кантемира, Ломоносова, Сумарокова, Тредиаковского и других? Какие коммуникативные схемы стояли за их сочинениями и какое место в модели социума было отведено литературному акту? В каких формах словесность предьявляла и обосновывала свои претензии на общественное признание? В чем лирический модус был смежен с конструкциями монархической власти и политической субъектности подданного? Кирилл Осповат—филолог, доцент Университета Висконсина в Мэдисоне.

ISBN 978-5-44-481405-5

© Осповат К.

© НЛО

Содержание

Введение	6
ЧАСТЬ	26
Глава I	26
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Кирилл Осповат

Придворная словесность Институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века

Введение

Предлагаемая книга представляет собой очерк русской литературы середины XVIII в., когда стараниями Кантемира, Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова в России складывался «институт литературы» (П. Бюргер).

Двадцать лет царствования Елизаветы Петровны (1741–1761) стали эпохой первого расцвета светской русской словесности при последовательном покровительстве двора. Якоб Штелин писал в позднейшем мемуарном наброске: «В благополучное царствование Ея И. величества Елисаветы Петровны так возвышалась поэзия и прочия изящныя искусства и науки, что оне приняли совсем другой вид» (Куник 1865, 388). Статья С. Г. Домашнева «О стихотворстве» (1762), вышедшая через несколько месяцев после смерти императрицы, содержала сходные оценки:

В щастливое для наук владение бессмертной славы достойная императрицы Елисаветы Первой стихотворство пришло в цветущее состояние в России. То, что видели Афины в самое благополучное время своей вольности; что видел Рим при Августе; что видела Италия при Льве X; что видела Франция при Людовике XIV, увидела Россия во времена великия Елисаветы (Ефремов 1867, 191).

Формулировки Штелина и Домашнева указывали не только на жанровое и стилистическое обновление литературного репертуара, но и на стремительно усиливавшееся придворное покровительство словесности: если в 1740 г. кабинет-министр А. П. Волынский избивал Тредиаковского во дворце, то в 1765 г. бывший канцлер гр. М. Л. Воронцов, один из первых вельмож империи, воздвиг в Александро-Невской лавре каменное надгробие «Михаилу Ломоносову <...> бывшему статскому советнику <...> разумом и науками превосходному, знатным украшением отечеству служившему, красноречия, стихотворства и истории российской учителю» (Новиков 1951, 321).

Литература как институт возникала, таким образом, в тесной связи с практиками придворного патронажа и идеей *отечества*, понимавшейся в сравнительных политических категориях: если верить Домашневу, после Афинской республики поэзия сопровождала главным образом расцвет влиятельнейших европейских монархий, от Рима эпохи Августа до Франции Людовика XIV. Этой политической локализации поэтического искусства соответствует у Домашнева и осмысление его целей:

От богов стихотворство дошло до полубогов, до героев, до основателей городов, до защитников отечества и простерлось на конец до всех, кои почитались творцами общего благополучия. Язычество, обожая все, что могло только иметь свойство власти, довольно могущей принести пользу, которая бы несколько превосходила обыкновенную человеческую силу и имела в себе нечто чрезвычайное, почло за справедливое дать в похвале богов участие тем, которые разделяли с ними славу оказывать человеческому роду самое

величайшее благо, кое он знал, и самое совершеннейшее благополучие, которое он чувствовал. <...> Главнейшее старание стихотворства было всегда исправление нравов (Ефремов 1867, 174–175).

Природную роль поэзии Домашнев видит в *обоожествлении* и прославлении *пользы*, которую приносят человечеству носители необыкновенной *власти*: «основатели городов», «защитники отечества» и прочие «творцы общего благополучия». Из начал политического порядка, переплетенных с «похвалой богов», проистекает и авторитет истинной поэзии, и приносимая ею польза, состоящая в «исправлении нравов»: с древнейших времен все поэтические формы «стремились к одному концу: *сделать людей лучшими*» (Там же, 175).

Этой преамбулой предваряются у Домашнева характеристики важнейших национальных литератур и их главных авторов, среди которых занимают свое место и поэты елизаветинского царствования:

Г. Ломоносов был первой, которой на стройной и великолепной лире возгремел дела Великого Петра и его безпримерной дщери. <...> Г. Сумороков, великой стихотворец, славный Трагик <...> Г. Третьяковский первой изъяснил правила о стихотворстве <...> Князь Антиох Кантемир <...> известен своими сатирами, которые переведены на многие чужестранные языки (Там же, 191–192).

Как же связаны сочинения этих литераторов с авторитетными теоретическими представлениями о поэзии, заимствованными Домашневым, – как показал Х. Шлиер (Schlieter 1966), – у Вольтера и переведенного Третьяковским Ш. Роллена? Об этом пойдет речь в нижеследующих главах, посвященных рассмотрению конкретных сочинений середины XVIII в. и стоящих за ними жанровых форм – коммуникативных моделей, определявших место литературного акта в символической модели социума. В двух главах первой части рассмотрена семантика нормативных поэтик (в первую очередь «Сочинений и переводов» Третьяковского и «Двух эпистол» Суморокова), очерчивавших претензии литературы на общественное признание в категориях придворного вкуса и абсолютистской государственности. В трех главах второй части на материале торжественной оды и поэтических переложений Библии исследуется смежность лирического модуса с конструкциями монархической власти и политической субъектности подданного. В единственной главе третьей части поэтические и металитературные сочинения конца 1750-х – начала 1760-х гг. истолкованы на фоне символических и социальных стратегий придворного патронажа и общеевропейских теоретических представлений о месте литературы при дворе и в государстве.

* * *

Связи литературы XVIII в. и государственности хорошо изучены в исследованиях последних лет: достаточно вспомнить исследования А. Л. Зорина (2001; 2016) и В. Ю. Проскуриной (2006; 2017), восстанавливающие придворные и политические контексты екатерининской словесности. Исторические работы такого рода подводят к теоретическому вопросу о взаимодействии между поэтикой и политикой, между литературной формой, писательской деятельностью и абсолютистской моделью общества. Перспективные подходы к этому вопросу, глубоко укорененному (как свидетельствуют формулировки Домашнева) в общеевропейской практике и рефлексии начала Нового времени, были намечены уже в старом литературоведении. Так, Л. В. Пумпянский, один из проницательнейших исследователей русской литературы XVIII в., писал в 1935 г.:

Классицизм – литературный стиль эпохи абсолютизма. <...> Относительное единообразие общественного строя европейских стран в эпоху абсолютизма привело к созданию своего рода единой европейской литературы на нескольких языках. <...> Сент-Аман и Херасков, Буало и Кантемир, Малерб и Ломоносов стремятся к той же художественной цели. Однако это тождество цели остается гипотетической величиной, – в меру структурных особенностей каждой страны, – и становится, в последнем счете, лишь директивой единообразия, директивой, всегда наличной в художественном сознании поэтов и никогда не осуществленной (и неосуществимой). <...> Кантемир «последует» Буало, Ломоносов Малербу, Третьяковский <sic> Буало (как автору Намюрской оды) Ротру Корнелю, Сумароков Расину, и все вместе античности (или, вернее, тому, чем им античность представляется). Конечно, и это литературное мировоззрение никогда не было осуществлено бесспорным образом; всегда были (даже во Франции XVII в.) противоположные тенденции <...> «Химически чистый» классицизм такая же нереальность, как «химически чистая» общественная формация (Пумпянский 1935, 130–131).

Хоть и оперируя объективистскими понятиями «абсолютизма» и «классицизма», Пумпянский проницательно опознает в них условности, теоретические конструкции, общие европейскому политическому и литературному мышлению, но по-разному соотносившиеся со «структурными особенностями каждой страны». Узловым моментом понятого таким образом общеевропейского «классицизма» оказывается взаимная соотнесенность антикизирующе-нормативных литературных доктрин с определенной, «абсолютистской» политической программой.

Это космополитическое соотнесение манифестировалось в литературном тексте, значимость которого на русской почве установил тот же Пумпянский. Речь идет о новолатинском романе Дж. Баркляя «Аргенида» (1621), дважды переведенном на русский Тредиаковским – в 1720-х гг. и вновь почти тридцать лет спустя (см.: Пумпянский 1941а, 241–242; Николаев 1987; Carrier 1991). Первый перевод остался в рукописи, а второй вышел в свет в 1751 г. Пумпянский пишет:

Современному читателю (и даже историку литературы) «Аргенида» и автор ее Барклай не говорят ничего. Но были времена, когда Барклай был едва ли не самым популярным в Европе автором, а «Аргенида» считалась заодно и занимательнейшим из романов, и глубоким политическим произведением, и образцом неолатинского языка. <...> работы [Баркляя] представляют как бы теоретическое введение к деятельности Ришелье, а напечатанная в год смерти автора «Аргенида» стала настольной книгой знаменитого кардинала. Европейский успех «Аргениды» был беспрецедентным. <...> Еще важнее числа переводов имени переводчиков. Поэт Малерб, которому предложено было перевести «Аргениду», не сделал этого лишь по случайным причинам. Первый немецкий перевод сделан (1626) Мартином Опицем. <...> Когда же Феофан Прокопович (с 1704 г. преподаватель пиитики в Киеве) реформировал преподавание словесных наук и обновил арсенал рекомендуемых образцовых текстов, «Аргенида» начинает регулярно встречаться в рукописных курсах пиитики в качестве образца в своем жанре. <...> В библиотеке кн. Д. М. Голицына (известного участника «Затейки» верховников в 1730 г.) была рукопись «На Аргений Иоанна Баркляя», т. е., очевидно, перевод одного из многочисленных «ключей» к «Аргениде». <...> вероятно, не раз в кругах заинтересованных людей «Аргенида» обсуждалась

в связи с событиями 1730 г.; Феофан, Татищев и Кантемир, действуя за восстановление самодержавия против вельмож-олигархов, действовали в духе учения «Аргениды» и несомненно вспоминали ее, потому что в первой части романа рассказана попытка влиятельного аристократа Ликогена восстать на монарха Мелеандра и в связи с этим обсуждается вопрос о преимуществах единодержавия перед буйной аристократической республикой. <...> одна общая «аллегория» проходит через всю книгу: нет зла страшнее мятежных аристократических «факций» и религиозных сект, образующих государство в государстве; абсолютный монарх – символ государственного единства (Пумпянский 1941а, 241–244).

«Аргенида» – приключенческий роман из воображаемой древности, основанный на событиях Религиозных войн во Франции конца XVI в., – описывает хорошо разработанную модель политического кризиса и абсолютистской реставрации. В политическом мире «Аргениды» находится место и изящной словесности. Устами Никопомпа, образцового придворного писателя и alter ego автора, Барклай объясняет замысел своего романа и стоящие за ним представления о литературе и ее общественной роли. Обсуждая с единомышленниками тяготы гражданских смут, Никопомп говорит:

Не знаю, каким превеликим восторгом боги сердце мое наполняют, а именно чтоб мне возгнущаться беспокойными людьми, чтоб вооружиться на злодеев и чтоб отмщение над ними самими получить заблаговременно <...> я не внезапным и суровым укорением, как приговоренных, повлеку на суд тех, кои общество в смятение приводят <...> Но незнающих обведу их по сладчайшим округам так, что самим тем будет приятно быть осуждаемым под чужими именами <...> превеликую баснь, наподобие истории, красным слогом сочиню. В ней удивительные приключения сплету: оружие, супружества, войну, радость ненадежными смешаю успехами. <...> Потом злключений видом воздвигну жалость, страх, ужас <...> Коих угодно будет, от смерти свободу и предам смерти. Знаю, каковы наши: они будут думать, что я играю, тем всех их к себе преклоню. Возлюбят они сие как театральное или какое другое зрелище. Таким образом вливши исподволь любовь к напитку, придам лекарственные злаки. Пороки представлю и добродетели; также и воздаяния обоим пристойныя будут. Когда станут читать, когда как на иных будут они гневаться или другим благоприятствовать, тогда встретятся сами с собою и увидят в зеркале лице и достоинство своея славы. Может быть, постыдятся представлять больше в действии такие лица на театре сея жизни, о которых узнают, что те по правде с ними сходствуют в басни (Аргенида 1751, I, 411, 416–417).

Описывая воздействие своей «басни», Никопомп оперирует сразу несколькими важнейшими понятиями и метафорами, обозначавшими в словесности начала Нового времени воспитательные эффекты поэтического вымысла. Он сравнивает текст с *лекарством* и с *зеркалом*. Следуя «Поэтике» Аристотеля, он стремится пробудить в читателе «жалость, страх, ужас». Кроме того, он смешивает нравоучение с удовольствием и опирается при этом на наставления «Науки поэзии» Горация. Тредиаковский, выпустивший свой перевод Горация в 1752 г., цитирует его в предисловии к «Аргениде»:

Подлинно, «все вообще пииты ни о чем больше в сочинениях своих не должны стараться, как чтоб или принести ими пользу, или усладить читателя, или твердое подать наставление к чесному и добродетельному обхождению в жизни». Но мой Автор [Барклай] все сии соединил в себе

преимущества <...> так что можно сказать смело, что «он совокупил полезное с приятным некоторым похвальным и благородным, если притом и непревосходным образом» (Там же, I, XIII).

Нравоучительная сила поэзии, засвидетельствованная важнейшими авторитетами, встраивается у Барклая в механику абсолютистской государственности. Абстрактные пороки становятся атрибутом «тех, кои общество в смятение приводят», а под добродетелями, которые предстоит усвоить мятежникам, понимается этос верноподданнического послушания. Косвенное перевоспитание читателя средствами вымысла оказывается средством политического дисциплинирования, возвращающего личность подданного в соответствии с требованиями политического порядка. Задача Никопомпа одному из его собеседников представляется так:

Положим же, толь вы действительнаго благоразумия доказательства напишете, что они могут читающих неистовство укротить; равно как некоторые болезни, кои мусикиею исцеляются <...> (Аргенида 1751, I, 414).

Европейские дворы XVII–XVIII вв. хорошо усвоили роман Барклая и сформулированную в нем политическую теорию словесности. О ее бытовании в России сохранилось свидетельство, замечательно иллюстрирующее космополитический характер интересующих нас представлений. За двадцать лет до появления печатной русской «Аргениды» и вскоре после политических бурь 1730 г. И. Д. Шумахер по-французски поздравлял молодого Тредиаковского с успехом другого его перевода, знаменитой «Езды в остров любви»:

Хорошо известно, что, как скоро поэзия и музыка начнут смягчать нравы народа, [сколь варварским бы он ни был,] то владетели после того сумеют извлечь отсюда пользу (Пекарский 1870–1873, II, 26; перевод дополнен – К. О.).

Как общепризнанную истину Шумахер повторяет идею Барклая об искусствах, а именно музыке и поэзии, укрощающих политическое «неистовство» в интересах монархии. Шумахер, некогда библиотекарь Петра I, был одним из основателей и влиятельнейшим администратором в учрежденной Петром Академии наук. Он происходил из Эльзаса и в Страсбургском университете, по сообщению П. П. Пекарского, преимущественно занимался «словесностью» (die schönen Wissenschaften), потому что чувствовал в себе особенное призвание к поэзии», и вместе со званием магистра получил «laurea poëtica» (Пекарский 1870–1873, I, 16). С таким образованием Шумахер сам принадлежал к типу придворных, или *политичных*, ученых, прославленных Барклаем под именем Никопомпа.

«Аргенида», которую Пумпянский именует «полным сводом абсолютистской морали» (Пумпянский 1983, 6) и к которой мы еще не раз вернемся на страницах этой книги, объявляла «художества» и «науки» важнейшим атрибутом успешной монархии:

Извольтеж в вашем уме представить, что славнейшии художествами, науками <...> как на одно небо звезды к некоторому Государю собрались: то какие о дворце оном во всем свете будут речи? Кто онаго знать не имеет? или, понеже в нем есть уже свой бог, с трепетом, как божественный храм, не почтит? (Аргенида 1751, I, 115).

Суммированные здесь общеевропейские механизмы меценатства и престижа, согласно энергическому очерку Г. А. Гуковского, определяли бытование словесности и в России середины XVIII в.:

До середины XVII[I] столетия, в течение четверти века, вся официальная культура, возглавлявшая умственное движение высших классов, имела правительственно-придворный характер. Она была создана не только по

приказу центральной власти, но и существовала на потребу ближайших практических целей той же власти. <...> Литература и искусство входили в ритуал эстетической пропаганды монархии, ее ближайших целей и намерений, обосновывая в то же время ее права на власть. <...> Вся новая дворянская культура мыслилась как один из видов «службы», предписанной всей стране петровской реформой. <...>

Фактически судьбами и направлением науки, искусства, литературы в 30-е и 40-е годы заправляли немногочисленные, как бы специально выделенные для этого вельможи, придворные правительственные дельцы. Их трудно назвать меценатами, поскольку они были лишь орудиями «меценатской» деятельности центральной власти, чиновниками по делам культуры. Но они составляли ядро читательской группы по отношению к литературе; это были «ценители», определявшие своим одобрением или неодобрением направление литературы. Они «поощряли» писателей и ученых, они покровительствовали им в жизни и в карьере, предпринимали издания их сочинений и присылали им на дом корзины с яствами, беседовали с поэтами о стихосложении, требовали от них од и речей, разбирали их ссоры и тяжбы между собой, устраивали для них «высочайшие милости», журили их, если находили это нужным <...> Типичны в ряду других и наиболее значительны по своему влиянию были: князь Никита Юрьевич Трубецкой и Иван Иванович Шувалов. <...>

Круг распространения дворянской литературы 30-х – 40-х и даже 50-х годов был очень незначителен. Кроме вельможной группы, командовавшей литературой, ею интересовалась придворная молодежь, «высший свет» <...> «Публики» как некоего неопределенного, неограниченного психологического фона применения идеологического воздействия литературы в сущности не существовало; потребители литературы были наперечет известны в лицо и по именам, и произведение распространялось в списках с наименьшей легкостью, чем в печатных оттисках. <...> Стимулируя создание придворно-правительственной культуры, вельможи, люди «высшего света», не работали сами ни в искусстве, ни в науке, по крайней мере не работали профессионально. Они, т. е. власть, заказывали культуру специалистам-мастерам этого дела, которых они готовы были обучать за счет казны, так же, как заказывали мастеру мебель и ковры для зал императорского дворца. Они нанимали для писания стихов и прозы, для работ в лабораториях, для университетских лекций мастеров слова и мысли, не принадлежавших к высшему придворному кругу, но готовых служить ему, намерениям и интересам его и всех, его поддерживающих. В науке работали по большей части наемные иностранцы; в литературе – наемные писатели, большей частью «природные» россияне. <...>

Сферой приложения силы искусства и мысли был в первую очередь дворец, игравший роль и политического, и культурного центра, и вельможного-дворянского клуба, и храма монархии, и театра, на котором разыгрывалось великолепное зрелище, смысл которого заключался в показе мощи, величия, неземного характера земной власти. При дворце в порядке вспомогательных учреждений или филиалов существовали и Академия наук и вельможные салоны. В сложном ритуале дворцовой жизни, в котором всякому участнику, начиная с монарха и кончая пажом, была предписана определенная роль, искусство занимало большое место. Торжественная ода, похвальная речь

(«слово») и были наиболее заметными видами официального литературного творчества; они жили не столько в книге, сколько в церемониале официального торжества. За ними шли салонные песни и необходимый во всяком придворном быту театр – училище манер и слога, пропагандист придворной эстетики и идеологии (Гуковский 1936, 9–13).

В управлявшейся Шумахером Академии наук место словесных наук было сперва весьма скромным, но оно разрасталось по мере формирования после бурных и воинственных петровских лет новой придворной культуры. Появление русской «Аргениды» в переводе Тредиаковского хорошо иллюстрирует этот процесс: книга была издана при Академии, где служил переводчик, по личному распоряжению ее президента К. Г. Разумовского, принадлежавшего к ближайшему окружению императрицы Елизаветы и действовавшего от ее имени. В черновом посвящении «Аргениды» Елизавете (не допущенном в печать Ломоносовым и С. П. Крашенинниковым за «излишнее ласкательство») Тредиаковский развернуто описывал союз между литературой и монархией:

На книгу прещедрое Монаршеское токмо воззрение имеет быть достовернейшим знаком высочайшаго ей удостоения. Как скоро пресветлыя очи Вашего Величества обратятся на приносимую сию <...> тако тотчас разойдутся во все концы пространнейшаго Вашего обладания прекраснейшие Музы сея ж книги. <...> Их доброгласное пение увеселит старость, удивит, возбуждая к непоползновенной должности, людей средовечных, и просветит, наставит, купно и усладит удопонятную юность: от всякаго притом чина и состояния, от всякаго пола и возраста будет оно с радостию услышано и произведет всюду вожделенный плод, насаждая в сердца нежную и красную добродетель, а искореняя злосердную и грубую мысль. Все ж толь непренебрегаемое сие приобретение воспишется от всеобщаго благодарения премудрому Вашего Императорскаго Величества и благоуспешному о людях своих, за умножаемое просвещение, рачению и промыслу (Пекарский 1870–1873, II, 149).

Здесь описан абсолютистский политический космос, в средоточии которого располагается фигура монархии и исходящий от нее процесс *всеобщего просвещения* подданных. «Прекраснейшие Музы сея книги» освящают не столько литературную работу автора или переводчика, сколько политическое функционирование монархии, в чьей власти распространить производимое Академией книжное знание «во все концы пространнейшаго Вашего обладания». Посредством этого знания, или «пения», исполненный «рачения и промысла» царский взгляд «пресветлых очей Вашего Величества» достигает подданных «всякаго чина и состояния» и «возбуждает» их «к непоползновенной должности». Таким образом, Тредиаковский осмысляет свой перевод и вообще издательскую деятельность Академии как медиум дисциплинарной государственности, в которой отношения автора и читающей публики поглощены отношениями самодержавия к сообществу подданных.

В посвящении Тредиаковского панегирический язык подношения переплетается с нормативной речью о литературе, опирающейся на общепризнанный авторитет Баркляя. Здесь обнаруживается специфическая функция литературной теории, едва ли не преобладавшей в русской печати середины XVIII в. над оригинальным сочинительством. В посмертно опубликованной статье «Русская литературно-критическая мысль в 1730–1750-е годы» Г. А. Гуковский заключал:

<...> нормализация литературы <...> была необходимым отражением общего содержания государственной жизни русского народа в первой половине XVIII столетия. Личность и масса подчинились нормам закона,

правительственной схемы, подчинились целенаправленному устремлению государства, воплощенного и в Петре, и во власти вообще. Дисциплина, норма стали основой силы страны, ее поступательного хода, принципом ее обновленного бытия. <...> Возникла внутренняя необходимость регламентировать, узаконить, ввести в норму, подчинить государственным, общенародным задачам и формам и культуру, и ту область ее, где стихийность, непреднамеренность, эмоциональный произвол могли быть особенно сильны, – искусство, прежде всего – литературу, поэзию. <...> Необходимо было сделать ее системой, введя ее тем самым в круг явлений государственного подчинения и гражданского бытия (Гуковский 1962а, 109–110).

Соображения Пумпянского и Гуковского были развернуты в теоретическую конструкцию учеником Гуковского Ю. М. Лотманом. В первую очередь мы имеем в виду его почти незамеченную итоговую монографию «Очерки по истории русской культуры XVIII – начала XIX века» (1992), опубликованную посмертно в коллективном сборнике. Это исследование, включающее в себя многие хорошо известные статьи и положения Лотмана, встраивает вопрос о литературе и толкования отдельных текстов в масштабную и методологически амбициозную картину культурных процессов, в ходе которых складывались и эволюционировали отношения между властью, текстом, читательской публикой и политической субъектностью.

Рассматривая вопрос о «классицизме», Лотман предлагает видеть в нем теоретическую фикцию:

XVIII век был веком теорий. Особенно это относится к России, которая сознательно строила свою культуру как «новую», оторванную от традиций и подлежащую реконструкции на основе идеальных теоретических моделей. Однако отношение к теории было специфическим. Теория – будь то теория государственности, проекты построения идеальных городов (при Петре – Петербурга, при Екатерине II – Твери), создание грамматики или построение теории литературных жанров – не была абстракцией эмпирической реальности, а тяготела к идеалу, утопии, к которым жизнь призвана стремиться, но достичь которых она по природе своей не может. Как жизнь относилась к литературным произведениям, видя в них свою идеальную, но недостижимую норму, так и художественные тексты относились к литературной теории. <...> Поэтому теории XVIII в. носят в основном нормативный характер. Они не познают законы литературы, а предписывают их (Лотман 1996, 128–129).

Отправляясь от «классицистической» теории и не совпадающей с ней литературной практики XVIII в., Лотман обнаруживает дискурсивную природу дисциплинарной государственности начала Нового времени и ее зависимость от работы и регламентации языка. В категориях более ранней статьи Лотмана и Б. А. Успенского «К семиотической типологии русской культуры XVIII века» (1973), «метатексты, нормирующие „правильное“ творчество» стоят в одном ряду с прочими утопическими «грамматиками культуры», к которым принадлежит и «„регулярная“ система метাগосударственности» (Лотман, Успенский 1996а, 433, 438).

К сходным выводам приходили одновременно с Лотманом и западные исследователи. В работе 1983 г. Петер Бюргер разрабатывает понятие «института литературы» (Institution Literatur):

Это понятие описывает не совокупность всех бытующих в данную эпоху литературных практик, но ту из них, которой свойственны по меньшей мере три следующих признака: претензия на определенную функцию

в системе общества в целом; построение эстетического кодекса, одновременно легитимирующего отсечение иных литературных практик; претензия на универсальность (институт литературы определяет, что в данную эпоху считается литературой). Истолкованное таким образом понятие институции наделяет первостепенным значением нормативный уровень, поскольку именно он определяет поведение производителей и потребителей [литературы] (Bürger 1983, 13).

В теоретико-литературных сочинениях выясняется и фиксируется место словесности в «системе общества в целом». Так, законы классической поэтики, получившие во Франции «статус официальной литературной доктрины» благодаря авторитету Ришелье (ценившего, как мы помним, «Аргениду») и основанной им академии, «можно считать нормативным средоточием феодально-абсолютистского института литературы» (Ibid., 16).

Формирование «института литературы» в России середины XVIII в., о котором пойдет речь в предлагаемой книге, нужно рассматривать с учетом концептуальных перспектив, намеченных Лотманом и его кругом и созвучных параллельной работе западных историков культуры.

Узловое место тут принадлежит многосоставному тезису о сродстве и взаимосвязи вымысла и власти. «Очерки...» Лотмана начинаются с главы «Идеи общественного развития в русской культуре», описывающей политические представления Древней Руси и Нового времени как формы культурного сознания, в котором «социальная психология» встречается с символической работой «семиозиса» (Лотман 1996, 38). Свой анализ власти Лотман начинает с проведенного де Соссюром различения «между знаком и символом как выражением условного и безусловного в семиотике». Согласно тезису Лотмана, власть опирается на механику символа, который, в отличие от знака, «всегда не до конца произволен»:

Власть в перспективе символического сознания русского средневековья наделяется чертами святости и истины. Ценность ее безусловна – она образ небесной власти и воплощает в себе истину. Ритуалы, которыми она себя окружает, являются подобием небесного порядка. <...> Распространяя на государственность религиозное чувство, социальная психология этого типа требовала от общества как бы передачи всего семиозиса царю, который делался фигурой символической, как бы живой иконой (Лотман 1996, 37–38).

Символическая природа власти не разрушается с петровскими преобразованиями, но служит их фундаментом:

Петровская государственность не была воплощенным символом, т. к. сама представляла конечную истину, не имея инстанции выше себя, не была ничьей представительницей или образом. Однако она, как и допетровская централизованная государственность, требовала веры в себя и полного в себе растворения. Человек вручал себя ей. Создавалась *светская религия государственности* <...> (Там же, 40).

В понятии *веры* анализ покорности как аффекта, определяющего коллективную и личную политическую субъектность, смыкается с вопросом о семиотическом отношении – доверии – субъекта к знаку. Сутью петровского слома оказывается секуляризация, обнаруживающая условность семиозиса и перестраивающая соответствующим образом дискурсивные конструкции власти. Эта секуляризация представляет собой не столько линейный процесс вытеснения, сколько диалектическую динамику семиотических смежностей и различий:

Государственная идеология нового времени и в России, и в Европе была связана с возникновением светской, полностью секуляризованной культуры.

Более того, эта новая идеология была полемически противопоставлена Средневековью, его идеям и ценностям. Однако в России такая противопоставленность не исключала глубокой внутренней преемственности. Это позволяет одни и те же факты государственной жизни начала XVIII в. трактовать и как результат полного разрыва со «старинной», и в качестве ее органического продолжения <...> Одним из путей создания секуляризированной государственной идеологии была постановка государства на то место, которое в средневековом мировоззрении занимала церковь, а церкви – на место, отводимое в культурной модели Средневековья государству (Там же, 41).

Этот диалектический анализ секуляризации, не востребованный исследователями русской истории, созвучен, однако, одной из самых влиятельных работ о взаимоотношениях между церковью и государством на Западе – труду Эрнста Канторовича «Два тела короля: Исследование по средневековой политической теологии» (1957). Подобно Лотману, Канторович описывает переплетение идей о церкви и государстве в Средние века и Новое время:

<...> иерархический аппарат римской церкви превращался в совершенный прототип абсолютной и рациональной монархии на мистической основе, в то же самое время как государство все отчетливее проявляло тенденцию к превращению в квазицерковь или мистическую корпорацию на рациональной основе. <...> Исследователи часто ощущали, что эти новые монархии являлись во многих отношениях как бы «церквями», но они гораздо реже показывали в деталях, до какой степени в действительности политические сообщества позднего Средневековья и Нового времени испытали воздействие церковной модели, и в особенности всеобъемлющего духовного прототипа корпоративных теорий, идеи о *corpus mysticum* – «мистическом теле» – церкви (Канторович 2015, 290).

Принципиально важное сходство подходов Лотмана и Канторовича состоит в том, что оба они рассматривают отношения государства и церкви не только в узкодисциплинарной перспективе истории идей или институтов, но и как общий вопрос истории культуры и исторической семиотики. Кроме прочего, анализ западной политической теологии у Канторовича в значительных чертах совпадает с рассмотрением «сакрализации монархии в России» в классической работе коллег Лотмана по московско-тартуской школе Успенского и В. М. Живова «Царь и Бог» (1987). Подобно отечественным семиотикам, Канторович описывает монархический порядок и его сакральные основания как символическую парадигму, охватывающую, помимо специальной юридической и политической литературы, поэзию и изобразительные искусства. Разделы его исследования озаглавлены: «Шекспир: король Ричард II», «Фронтиспис Ахенского Евангелия», «Корона как фикция», «Центр власти – человек. Данте» и т. д.

Как и Лотман, Канторович выводит могущество монархической власти из напряжения между условностью и безусловностью символа. Так, на примере буквального и символического значения понятия *короны* он заключает: «Неопределенность символа сама по себе могла быть самой большой ценностью в нем, а расплывчатость могла составлять подлинную силу символической абстракции» (Канторович 2015, 456). В центральном для Канторовича понятии *фигиции* обнаруживается сродство юридических идей власти с медиальным языком искусства, обретающего таким образом важнейшую функцию в общественном существовании. Это сродство специально рассматривается в отдельной статье Канторовича «Суверенитет художника: заметки о юридических максимах и теориях искусства в эпоху Возрождения» (Kantorowicz 1961).

На основании фундаментальных заключений Канторовича исследователи установили принципиальную роль языка и художественного вымысла в секулярных конструкциях власти и политических сообществ начала Нового времени. В англоязычной науке эта перспектива

разрабатывается Викторией Кан, увидевшей в раннемодерной секуляризации замещение метафизической истины сознательным конструктивизмом политики и искусства (см.: Kahn 2014). Кан описывает, кроме того, место методологии Канторовича в немецкой мысли первой половины XX в., связанной с именами Карла Шмитта и Вальтера Беньямина. В современной немецкой науке это направление представлено работами Альбрехта Кошорке и его коллег, в первую очередь коллективной монографией «Вымышленное государство: конструкции политического тела в европейской истории» (см.: Koschorke et al. 2007). На французском материале подход Канторовича оказался плодотворен для рассмотрения феномена «короля-солнца» Людовика XIV. Помимо работ Ж. М. Апостолидеса и П. Берка (см.: Apostolidès 1981; Burke 1994), укажем на образцовое исследование Луи Марена «Портрет короля» (1981), где описывается соположение в «классическом абсолютизме» «физического исторического тела» короля и его «семиотически-ритуального» тела, *портрета*, понятого как узловой случай работы языка и репрезентации (Marin 1988).

Подходу Марена созвучен разбор словесных и живописных изображений Екатерины II в «Очерках...» и других работах Лотмана. В панегирическом *портрете* монархини Лотман опознает напряжение между «вещью» и «знаком, требующим включенности в определенную систему государственной символики»: «<...> лицо Екатерины II и орел у ее ног на известной картине Левицкого дают различную меру условности (лицо изображает лицо, а орел изображает власть)» (Лотман 1996, 134; Лотман 1992а, 269). Вместо старинной семиотической безусловности главным символическим ресурсом обновленного Петром самодержавия оказывается условность и *вымысел* нового искусства. В этой перспективе оживает и традиционный тезис Лотмана о том, что Феофан Прокопович и Ломоносов, главные придворные писатели своего времени, привержены «государственности в ее идеальной <...> ипостаси» (Лотман 1996, 95). Сама идея *государства* формируется и распространяется – в эпоху, не знавшую вездесущего бюрократического аппарата, – при помощи аппаратов *фигиции*.

Во второй главе «Очерков...», «Литература в контексте русской культуры XVIII века», Лотман (как позже Виктория Кан) выводит из процесса политической секуляризации становление светской словесности Нового времени:

<...> когда место религиозного авторитета оказалось вакантным, его заняло искусство Слова. <...> Отношение литературы к послепетровской государственности особенно ярко выделяет природу места, занятого ею в общем контексте культуры. <...> В новом секуляризованном государстве церкви было отведено место пропагандиста правительственных мероприятий, официального публициста, действующего на подданных не средствами внешнего принуждения, единственно доступными правительству, а внутреннего убеждения. <...> Поскольку одновременно и светская литература петровской эпохи была отчетливо публицистична, от литературы власть ждала того же – пропаганды своей программы, сакрализации главы государства, публицистичности и панегириков. Литературное слово облекалось авторитетом государства, сакрализовалось за счет обожествления светской власти (Лотман 1996, 89, 92–93).

Отказываясь от привычной герменевтики, полагающей предельный горизонт литературоведческого анализа в абсолютной субъектности Автора, Лотман вписывает вопросы об авторе, тексте и читателе в общую историю политико-символических форм и определенной ими «социальной психологии». Авторство оказывается в тени авторитета, претерпевшего в петровскую эпоху масштабные сдвиги. Литература – светские сочинения, отвечающие определениям *поэзии* или *вымысла*, – служит медиумом, в котором секулярная политика усваивает себе регу-

лятивно-дисциплинарные полномочия духовной словесности и ее власть над моделями субъектности.

В средоточии этой констелляции Лотман совершенно точно распознает вопрос о «внешнем принуждении» и «внутреннем убеждении» как конкурирующих источниках личной и всеобщей покорности властям. Диалектическая зависимость секулярного государства от церкви объяснялась, в частности, политико-богословской структурой *веры*, делавшей послушание авторитету сущностным ядром субъектности и переживания себя. В проповедях Феофана – согласовывавшихся с общеевропейской практикой политико-религиозного дисциплинирования подданных – Б. П. Маслов усматривает «фукольтианскую модель власти, пронизывающей все общество». По заключению исследователя, «не менее значимым и долговечным изобретением петровского времени, чем новая идеология царской власти, был новый тип субъективности: на основе представления о задолженности христианина появляется концепция гражданского долга как внутреннего нравственного императива» (Маслов 2009, 245–247).

Действительно, трактат С. Пуфендорфа «О должности человека и гражданина» (1673), вышедший по-русски по личному распоряжению Петра I в 1726 г., видит в «учении христианском» способ управлять «волями всех граждан» в интересах политической устойчивости и верховного правления:

Ко внутренней же тишине всего града надлежит, дабы воли всех граждан тако умерены и управляемы были, как до целости града надлежит. И потому высочайших повелителей должность есть не токмо приличные тому концу законы уставлять, но и общее учение тако узаконять <...> для того конца надлежит такожде тщаться, да бы учение христианское чистое истинное в граде процветало, и в училищах народных таковое учение проповедуемо было, которое благосостоянию и концу града есть приличное (Пуфендорф 1726, 453–454).

Читавшийся по всей Европе труд Пуфендорфа отображал тот масштабный сдвиг «от пастырской опеки над душами к политическому управлению людьми», который Мишель Фуко в лекциях 1977–1978 гг. описывает как основополагающий момент государственности Нового времени (Фуко 2011, 302). Подобно Лотману, Фуко подчеркивает специфическую близость государства и церкви в русской ситуации (Там же, 215–216). На этом фоне в русском издании Пуфендорфа можно увидеть значимый жест политической секуляризации: по высочайшему приказу – и, ко всему прочему, «благословением же Святейшаго правительствующаго всероссийскаго синода» – для наставления публики издавалось сочинение светского автора чуждой конфессии. Трактат Пуфендорфа служил авторитетным образцом светской текстуальности, заново устанавливавшей соотношение власти, авторитета и читателя.

В статье «„Езда в остров любви“ Тредиаковского и функция переводной литературы в русской культуре первой половины XVIII века» (1985), лишь отчасти вошедшей в «Очерки», Лотман заключал, что русская словесность первых десятилетий XVIII в. была «ориентирована на наставление, учебник, устав», поскольку «петровская реформа изменила для русского дворянства сферу поведения», так что литературные сочинения должны были играть роль «инструкции для поведения» (Лотман 1992б, 27). Параллельно с Лотманом к этому же выводу пришел ведущий американский историк Марк Раев, рассматривавший петровскую государственность в контексте общеевропейских процессов социального дисциплинирования. В итоговой статье 1991 г. Раев заключает, что петровские реформы «вдохновлялись (идеальной) моделью регулярного государства и <...> стремились к преобразованию правящих слоев в „новых людей“, равных знаниями, успехами и могуществом своим собратьям в Западной и Центральной Европе. <...> Весь XVIII век русские исполняли программу первого императора, и с немалым успехом». В рамках этой программы «печатное слово оказалось одним

из важнейших инструментов, позволивших Петру заложить основания современной русской культуры». «Для петровского дидактического наследия, – продолжает исследователь, – очень характерно учреждение крупного издательства светской литературы, в том числе официальных и назидательных публикаций, под управлением и эгидой Академии наук» (Raeff 1991, 102, 104).

Предложенная Лотманом модель становления русской светской литературы XVIII в. соотносится, таким образом, с дискуссией об общеевропейской «дисциплинарной революции». Это методологическое созвучие не ограничивается точечным сходством тезисов Лотмана и Раева. Выкладки Лотмана совпадают в существенных чертах с выводами теоретика, заложившего основы изучения европейских дисциплинарных режимов на переходе от Средневековья к Новому времени, – Норберта Элиаса. В двухтомном исследовании «О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования» (1939) Элиас укореняет «социогенез» абсолютистского государства Нового времени не только в политическом укреплении королевской власти, но и в масштабной эволюции «цивилизации» – модусов поведения, режимов физической и эмоциональной (само)регламентации. Этот процесс Элиас описывает на обильном материале учебников хороших манер, объединявших европейское культурное пространство.

Узловым текстом для этого анализа был трактат Эразма Роттердамского «О приличии детских нравов» (1530), переведившийся в России с XVII в. и послуживший основой для знаменитого петровского учебника «Юности честное зерцало» (1717). В связи с сочинением Эразма Элиас задается вопросами о месте текстов в структуре меняющегося общественного порядка:

Иной характер поведения проявляется в увеличении роли наблюдения за собственным поведением и поведением других. Люди более сознательно, чем в Средние века, подходят к воспитанию – и других, и самих себя.

Раньше говорилось: делай это и не делай того, но в общем и целом контроль был невелик. <...> Теперь ситуация меняется. Давление людей друг на друга возрастает, требования «хорошего поведения» приобретают все большую принудительную силу. Проблема поведения становится одной из важнейших. Правила, содержащиеся ранее в стихах-памятках или разбросанные по трактатам, написанным на совсем другие темы, собираются Эразмом в одном сочинении, причем впервые весь круг вопросов о поведении в обществе (не только за столом) освещается в работе, специально посвященной данной проблеме. Успех труда Эразма был явным признаком ее растущей значимости. Близкие по духу сочинения, вроде «Придворного» Кастильоне или «Галатео» Делла Каза – если упомянуть только важнейшие из них, – появляются в это же время. За ними стоят уже указанные нами общественные процессы: старые социальные союзы если не разрушились, то ослабли, вступили в период трансформации. Индивиды разного социального происхождения оказываются в едином бурлящем котле событий, изменяющих их положение. В потоке все ускоряющейся социальной циркуляции происходят подъем одних, падение других.

На протяжении всего XVI и в начале XVII в. – где раньше, где позже, с разного рода отступлениями – идет укрепление новой социальной иерархии. Появляется новый высший слой, новая аристократия, включающая в себя людей различного социального происхождения. В результате необходимость единых для всех них правил «хорошего» поведения становится важной проблемой: изменение состава нового высшего слоя влечет за собой невиданное ранее давление на каждого принадлежащего к нему человека,

растет социальный контроль. В этой ситуации из-под пера Эразма, Кастильоне, Делла Каза и прочих авторов и вышли сочинения о манерах (Элиас 2001, I, 141).

В статье о «Езде в остров любви» Лотман в сходных категориях осмысляет культурный слом петровской эпохи:

Бытовое поведение потребовало таких же учебников и наставлений, как ритуальное, и таких же уставов, как рекрутское учение. Отсюда не только обилие метаязыковых инструкций по разным сферам деятельности, но и стремление любой текст истолковывать как такую инструкцию. Такие произведения, как воинский устав 1716 г., духовный регламент, «Приклады како пишутся комплементы», «Генеральные сигналы, надзираемые во флоте его царского величества», «Книга Марсова или воинских дел», «Объявление каким образом асамблеи отправлять надлежит. Асамблеи слово французское, которого на Русском языке одним словом выразить невозможно» или «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению», воспринимались именно как инструкции для поведения (Лотман 1992б, 27).

Становление новой литературы как института оба теоретика вписывают в общую логику социокультурных сдвигов, сопровождавших кристаллизацию абсолютистского порядка и дисциплинарных режимов Нового времени. В работе «Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века» (1977) Лотман подчеркивает созданное петровской реформой напряжение между сферой дискурсивной регламентации и привычным, «естественным» поведением:

Русское дворянство после Петра пережило изменение значительно более глубокое, чем простая смена бытового уклада: та область, которая обычно отводится бессознательному, «естественному» поведению, сделалась сферой обучения. Возникали наставления, касающиеся норм бытового поведения, поскольку весь сложившийся в этой области уклад был отвергнут как неправильный и заменен «правильным» – европейским. Это привело к тому, что русский дворянин в петровскую и послепетровскую эпоху оказался у себя на родине в положении иностранца – человека, которому во взрослом состоянии искусственными методами следует обучаться тому, что обычно люди получают в раннем детстве непосредственным опытом. <... > Культурная инверсия такого типа отнюдь не означала «европеизации» быта в прямолинейном понимании этого выражения, поскольку перенесенные с Запада формы бытового поведения и иностранные языки, делавшиеся нормальным средством бытового общения в русской дворянской среде, меняли при такой пересадке функцию. На Западе они были формами естественными и родными и, следовательно, субъективно неосязаемыми. Естественно, что умение говорить по-голландски не повышало ценности человека в Голландии. Перенесенные в Россию, европейские бытовые нормы становились оценочными, они, как и владение иностранными языками, повышали социальный статус человека (Лотман 1992в, 249–250).

Обучение «европейскому» языку и бытование соответствующей литературы оказывалось в новой ситуации элементом социальной семиотики, определявшей личный статус и общую картину общественной иерархии. У Лотмана этот важный тезис увязан с идеей принципиального отличия России от Запада, но и эта оппозиция может пониматься как условный элемент семиотического описания, а не сущностное историософское утверждение. Выводы и наблюдения Элиаса позволяют заключить, что напряжение между родным, «естественным» язы-

ком и чужим – главным образом французским – было важным атрибутом иерархического порядка начала Нового времени. Элиас начинает свое исследование с генеалогии понятия «цивилизации» как «разделительной линии», очерчивающей в немецком контексте высший слой «говорящей по-французски и по французским образцам „цивилизовавшейся“ придворной аристократии», которая «осознает себя и оправдывает отличия, ссылаясь на особого рода *поведение*» (Элиас 2001, I, 64). Немецкая словесность XVII–XVIII вв. развивалась на фоне намного более радикального, чем в петровской России, культурного двуязычия:

<...> князья и их свита пытаются подражать двору Людовика XIV (не имея для этого средств) и говорят по-французски. Немецкий – язык низших и средних слоев – тяжеловесен и неуклюж. Лейбниц, единственный придворный философ Германии, единственный великий немец этого времени, имя которого получило признание в придворном обществе, говорит и пишет по-французски или на латыни и лишь изредка переходит на немецкий. Как и многих других, его занимает проблема языка, а именно, вопрос о том, что можно было бы сделать с этим корявым немецким наречием. Французский язык распространяется, у княжеских дворов его перенимает высший слой буржуазии (Элиас 2001, I, 66).

На примере литературных вердиктов Фридриха II, вторившего Вольтеру в осуждении Шекспира и «варварской» немецкой словесности, Элиас разбирает «придворные воззрения» на литературу:

<...> духовная традиция, в которой он [Фридрих] вырос и которая находит выражение в его речениях, является общей традицией «хорошего общества» Европы. Это – аристократическая традиция донационального, придворного общества. Он говорит на языке этого общества – по-французски. <...> То, что Фридрих Великий говорит о Шекспире, на самом деле соответствует модели и стандарту того мнения, что было общепринятым в говорящем по-французски высшем обществе Европы. <...> То, что его политика была прусской, а вкусы и традиция – французскими, точнее, придворно-абсолютистскими, не так уж парадоксально, как может показаться с точки зрения господствующих ныне воззрений, предполагающих национальную замкнутость. Это можно объяснить своеобразной структурой придворного общества, где политические позиции и интересы были самыми различными, а сословная позиция, вкус, стиль, язык – одними и теми же по всей Европе (Там же, 68–69).

Как и его современник Пумпянский, Элиас рассматривает историю литературы XVII–XVIII вв. на фоне общеевропейского абсолютизма и космополитической культуры дворов. Этот подход разворачивается и в статье Лотмана о «Езде в остров любви», отправляющейся от огромного удельного веса переводов в русской словесности XVIII в. Вопрос о культурных функциях «литературной трансплантации» Лотман ставит на примере переведенного Тредиаковским прециозного романа, призванного пересадить на русскую почву механизмы социального функционирования великосветской словесности.

Лотман и Элиас равно связывают функции светской литературы с кристаллизацией абсолютистского порядка. Элиас выводит растущую значимость назидательной литературы из «плодотворного переходного периода, продлившегося от радикального ослабления средневековой социальной иерархии и до стабилизации иерархии эпохи Нового времени» (Там же, 135). Переформирование социального порядка открывает новые пространства для текста и автора:

Помимо всего прочего, данная ситуация давала шанс на социальный подъем и самому Эразму, и всем представителям небольшого слоя бюргерской интеллигенции, гуманистам. Ни раньше, ни позже у представителей этого слоя не было такой возможности снискать уважение, обрести духовную власть и свободу творчества, дистанцироваться от всего происходящего (Элиас 2001, I, 135).

Сходным образом Лотман толкует и стратегию молодого Тредиаковского, переносящего на русскую почву французские модели бытования литературы. «В то время как абсолютистское государство укрепляло и культивировало принцип сословной иерархии», Тредиаковский находит во французском салоне XVII в. образец социального пространства, где низкородный литератор мог «быть любимым, ласкаемым, делаться предметом обожания и зависти, сняв с себя проклятье низкого происхождения» (Лотман 1992б, 26). Как и Элиас, Лотман подчеркивает историческую хрупкость этой модели:

Вопрос о положении плебея в сословном обществе сделался в России второй четверти XVIII в. чрезвычайно острым. Идеологи петровской эпохи склонялись к тому, чтобы в сословиях усматривать лишь разные профессии, своеобразное разделение функций по служению государству. <...> Однако реальная политика противостояла демагогическим декларациям и утопическим надеждам, и поколение 1730-х гг., с горечью или радостью, убедилось, что новая Россия – Россия сословная, где над массой крепостных «нелюдей» возвышаются люди первого, второго или третьего сорта. Разрыв между надеждами и реальностью сделался трагедией жизни Ломоносова. Он же определил интерес Тредиаковского к прециозной утопии (Там же, 26–27).

Итак, и статус авторов, и культурную функцию их текстов Элиас и Лотман вписывают в вопрос о сословной иерархии, постепенно складывающейся в ходе раннего Нового времени в структуры абсолютистской монархии (воплощенные в России Табелью о рангах).

Хотя двор выступает арбитром вкуса, писательство оказывается в Германии делом «говорящей по-немецки, принадлежащей к среднему классу <...> немецкой интеллигенции», рекрутировавшейся «из бюргерства при княжеских дворах, чиновников (в самом широком смысле слова) <...> мелкого дворянства» (Элиас 2001, I, 64). В посмертно опубликованной работе конца 1930-х гг. «Ломоносов и немецкая школа разума» Пумпянский так определяет социальный тип ученых немцев-космополитов, служивших в Петербургской Академии наук: «<...> интеллигент (преимущественно бюргерский, очень часто плебейский), специализировавшийся в обслуживании дворянской монархии и даже в создании ее ведущих стилей» (Пумпянский 1983, 7). Сходным образом пишет о первых русских литераторах Гуковский: «<...> они были мастерами цеха культуры и вовсе не хотели быть интеллигентами в том смысле, как ими были писатели последующей эпохи. Они пошли на службу чуждому им делу, чуждому классу, видя в этом классе гегемона в политике и в культуре и не зная других возможностей строить культуру» (Гуковский 1936, 12). Одновременно с Гуковским П. Н. Берков в книге «Ломоносов и литературная полемика его времени» (1936) вписывает литературную борьбу середины XVIII в. в историю двора и придворных группировок.

Вслед за своими учителями и предшественниками Лотман рассматривает в этой перспективе Тредиаковского, который по французскому образцу объявляет двор средоточием языка и литературы:

Ведь не реальный русский двор 1735 г., а тот, что должен возникнуть, когда модель двора Людовика XIV будет перенесена в Петербург, имел

в виду Тредиаковский, когда в «Речи о чистоте Российского Языка» утверждал, что украсит русский язык «Двор Ея Величества в слове учнейший и великолепнейший богатством и сиянием. Научат нас искусно им говорить и писать благоразумнейшии Ея Министры и премудрыи Священноначальники» (Лотман 1992б, 28).

Б. А. Успенский в первопроходческой книге «Из истории русского литературного языка XVIII – начала XIX века (Языковая программа Карамзина и ее исторические корни)» (1985) демонстрирует связь языковых стратегий Тредиаковского с «социолингвистическим расслоением общества» и, конкретнее, – с идеей «наилучшего употребления двора и людей искусных» (Успенский 2008, 119). В. М. Живов в важнейшей работе «Первые русские литературные биографии как социальное явление: Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков» (1997) сводит заключения Пумпянского и Лотмана с выкладками Элиаса и связывает становление светской словесности в середине XVIII в. с параллельно формирующимися структурами придворного общества и патронажа (см.: Живов 2002а). В более раннем труде «Язык и культура в России XVIII в.» (1996) Живов располагает секулярную словесность середины XVIII в. в пространстве политико-теологического «культурного синтеза абсолютизма», предполагающего «единую государственную культуру, в которой и светская, и духовная сферы одинаково подчинены всеобъемлющему единовластию просвещенного монарха». Исследователь пишет:

Носителями этого нового ощущения был тот «народ уж новый» (Кантемир, I, 46), который был рожден петровскими преобразованиями и освоил их как свое законное наследие. Ими и была создана европеизированная культура императорского Петербурга, и в рамках этой культуры конфликт между церковью и государством представлялся исчерпанным. <...> Центром императорского Петербурга был двор. Он был не только средоточием новой культурной жизни в ее конкретных проявлениях, но и реализацией <...> культурного абсолюта <...> В парадной жизни двора духовная иерархия занимала столь же твердое место, как и иерархия светская. Культура европейского абсолютизма, насаждавшаяся двором, наряду с компонентом светским содержала и компонент духовный. Духовник императрицы, законоучитель наследника престола, придворный проповедник были такими же литературными агентами двора, как и сочинитель торжественных од или академических приветствий (Живов 1996, 368–370).

Рассмотрение социополитического фона литературы дополняется и у Лотмана, и у Элиаса анализом культурных механизмов ее бытования. Во втором своем масштабном труде, «Придворное общество. Исследования по социологии короля и придворной аристократии» (1969), Элиас переносит акцент с положения литературной интеллигенции на роль и статус различных форм текстуальности при дворе:

Придворный человек описывал себя прежде всего в речи и действии – в специфического рода действии. Его книги суть не что иное, как непосредственные органы общественной жизни, части бесед и светских игр или, как большая часть придворных мемуаров, несостоявшиеся беседы, разговоры, для которых по той или иной причине не было собеседника (Элиас 2002, 132–133).

Как и Лотман, Элиас подчеркивает смежность литературных форм – в той же самой Франции XVII в. – с устройством придворного общества и порожденных им модусов личного поведения. В придворной словесности, согласно Элиасу, отражается придворная конкуренция за статус и порожденное им «искусство наблюдать за людьми» и самонаблюдения:

Самонаблюдение и наблюдение за другими людьми параллельны друг другу. Одно не имело бы смысла без другого. Здесь, стало быть, мы не имеем дела с наблюдением своей «души», с погружением в самого себя как изолированное существо для проверки и дисциплины своих самых потаенных душевных движений ради Бога – как в случае самонаблюдения, возникающего в первую очередь по религиозным мотивам. Но речь идет о наблюдении за самим собой с целью дисциплинировать себя в общественно-светском обиходе. <...>

Искусству наблюдения людей соответствует искусство *описания людей*. Книга, а тем самым и процесс писания имели для придворного человека совершенно иной смысл, чем для нас. <...> Поскольку искусство наблюдения за людьми было для придворных людей одним из самых жизненно важных умений, понятно, что описание людей доведено до высокой степени совершенства в придворных мемуарах, письмах и афоризмах (Элиас 2002, 131–133).

Итак, литература служит медиумом социального формирования субъектности в тот момент, когда абсолютистская (само)дисциплина претендует на место религиозной. Напряжение между ними, принципиально важное для концепции Лотмана, обуславливает специфические функции текстуальности – и, в частности, изящной словесности – в отношении к субъекту-читателю. Лотман заключает в «Очерках»:

<...> литература требует от читателя определенного типа поведения, формирует читателя. Для того чтобы «стать читателем», быть достойным принять в себя литературу, тот, кому она адресована, должен себя переделать. Литература несет в себе идеальный «образ читателя», который она императивно навязывает реальному читателю. <...> текст обращен не к реальному читателю <...> а к некоторому сконструированному идеалу читателя. Однако этот идеал активно воздействует на реальность, и достаточно одного поколения, чтобы реальный читатель принял эту норму как идеальные правила *своего* поведения. От читателя требуют, чтобы он не читал книги, а жил по книгам. И читатель воспринимает это требование так, как средневековая аудитория принимала суровые нормы проповедуемой ей морали: если я живу в практической жизни иначе, чем требуют книги, то это по моей слабости и недостойности. Но я *хочу* жить по книгам и только такую жизнь считаю правильной и справедливой. И чем ближе мое реальное поведение к книжному, тем выше моя моральная самооценка. Поэтому изображение плохих нравов может восприниматься как проповедь аморализма. <...> Сделавшись «читателем», человек переносит систему книжных представлений, идеалов и оценок на окружающую жизнь и на самого себя (Лотман 1996, 112–113).

Эти выкладки подтверждаются, например, программной статьей «О чтении книг», открывавшей в 1760 г. журнал Московского университета «Полезное увеселение»:

Чтение книг есть великая польза роду человеческому <...> однако великая разность читать и быть читателем. <...> Читать книги много наблюдать надлежит; первое испытать себя: на что я хочу читать? что я хочу читать? и как я буду читать? Ежели я стану читать, чтоб пользу получить от выбранной мною книги, то я прежде всего буду думать: что за книгу я читать берусь? как читать ее буду? всякую ли материя толковать, или скорей книгу

кончить? но это не похвално для книг хорошего содержания. Романы для того читают, чтоб искусные любиться, и часто отмечают красными знаками нежные самые речи; а Философия, нравоучения, книги до наук и художеств касающиеся и тому подобныя, не романы, и их читают не для любовных изречений; для сего должно мне, вникнув в содержание книги, разобрать автора моего, содержание его книги и достоинство онаго. <...> Ежели кто для охоты, но без рассуждения читает книгу, тот может из самой полезной много вредных наставлений вычерпать <...> Итак, всего больше надлежит отцам стараться, чтоб их учителя толковали книги детям: для какой пользы они писаны? (ПУ, 1760, январь, 3–8).

В акте чтения осуществляется, таким образом, нормативное конструирование субъекта в соответствии с требованиями социального пространства и исторического времени. В чтении разворачивается, в формулировках книги Фуко «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» (1975), «отношение „власть – знание“», из которого возникают «познающий субъект, познаваемые объекты и модальности познания» (Фуко 1999, 45). Продуктом этого постоянно действующего процесса оказывается «современная „душа“»:

<...> душа <...> постоянно создается вокруг, на поверхности, внутри тела благодаря функционированию власти, воздействующей на наказываемых, – вообще на всех, кого контролируют, воспитывают, муштруют и исправляют, на душевнобольных, на детей в школе и дома <...> Душа в ее исторической реальности, в отличие от души в представлении христианской теологии, не рождается греховной и требующей наказания, но порождается процедурами наказания, надзора и принуждения (Фуко 1999, 45).

Дисциплинирующее чтение было узловым моментом «института литературы», в котором место личного авторства занимал авторитет верховной власти, транслируемый сотрудниками императорских учебных заведений посредством официальных типографий. Раев и Лотман подчеркивают процессуальное и темпоральное измерение запущенного петровскими реформами *процесса чтения*, подчинившего культурную историю нескольких поколений общей задаче формирования политического субъекта.

Надо признать, что ни у Лотмана, ни у Элиаса, ни у Фуко очерченный нами момент полного единомыслия между литературой и абсолютизмом не оказывается окончательной формулой культурной истории XVIII в. Для Лотмана главным диахроническим сюжетом была «борьба литературы XVIII в. <...> за право на общественную независимость, за то, чтобы быть голосом истины, а не отражением мнений двора». Эта борьба была связана, среди прочего, с «мощной освободительной мыслью французского Просвещения» и вела к «поколению декабристов» (Лотман 1996, 93, 112). Элиас, отправляясь от формулировок Канта, прослеживает постепенную эмансипацию немецкой интеллигенции, противопоставляющей учтивой *цивилизации* двора свою *культуру*, связанную с идеей добродетели и «достижениями в духовной, научной или художественной деятельности» (Элиас 2001, I, 64–65). Наконец, Фуко в эссе «Что такое критика?» (1978) и других статьях рассматривает интеллектуальную эмансипацию Просвещения на примере работы Канта «Ответ на вопрос: Что такое Просвещение?» (1784). Корни критического Просвещения Фуко, подобно Лотману, локализует в масштабном культурном сдвиге начала Нового времени, в ходе которого техники религиозного дисциплинирования были апроприированы светскими инстанциями и послужили основой для экспансии «искусства управлять», охватившего теперь педагогическую, экономическую и политическую сферу. Установившееся таким образом соотношение «власти, истины и субъекта» стало источником и предметом критики как «движения, благодаря которому субъект берет себе право вопрошать истину о заложенных в ней эффектах власти и вопрошать власть о ее утверждениях истины».

Критическое движение XVIII в. (совпадающее с *Просвещением* Канта и *литературой* Лотмана) определяется диалектической нераздельностью вопросов «как управлять» и «как быть управляемым иначе», искусства «добровольного непокорства» и потребности в позиции властного авторитета (Foucault 1996, 384–387). Но это темы для другой книги.

* * *

За пределами предлагаемой книги осталось несколько смежных с ней работ. В первую очередь это разборы трагедий Сумарокова, составившие отдельную монографию (Ospovat 2016). Кроме того, это статьи, исследующие пути адаптации Ломоносова и Сумарокова к культурным требованиям «придворного общества» (Осповат 2007; Осповат 2009а; Ospovat 2011). Глава VI представляет собой дополненный и переработанный вариант статьи, опубликованной в сборнике «Европа в России» (М., 2010).

Многолетняя работа над книгой была в разное время поддержана исследовательской стипендией Фонда Александра Гумбольдта и профессором Мартином Шульце-Весселем (Ludwig-Maximilians-Universität München); Ньютоновской стипендией Британской академии и профессором Андреасом Шенле (Queen Mary, University of London); и, наконец, стипендией Фонда Фрица Тиссена и профессором Сюзанной Франк (Humboldt-Universität zu Berlin). Им и многим другим собеседникам и друзьям автор выражает свою искреннюю признательность.

ЧАСТЬ I *Начала придворного вкуса*

Глава I «Польза и забава»: поэзия, государственность и двор в середине XVIII в

В посмертно опубликованной статье «Русская литературно-критическая мысль в 1730–1750-е годы» Г. А. Гуковский заключает, что литературная рефлексия этой эпохи «была направлена на определение и утверждение общественной функции литературы». «Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков (и вместе с ними Кантемир), – продолжает исследователь, – утвердили накрепко положение новой русской литературы как государственной, учительной, носительницы ответственных идей, как вместилища и выразительницы серьезнейших интересов нации» (Гуковский 1962а, 105, 113). На специфическом литературоведческом языке сталинской эпохи Гуковский артикулирует важнейшее соотношение между литературной теорией и политическим мышлением послепетровской империи. В настоящей главе мы проследим это соотношение на материале складывавшегося в России 1730–1750-х гг. языка литературной теории.

I

Очертания культурной политики русского двора первой половины XVIII в. хорошо выяснены в работах последних десятилетий. По точной формулировке В. М. Живова, «петровская государственность вводит перевоспитание населения в число важнейших политических задач» (Живов 2002б, 446). Марк Раев так характеризует программу петровского государственного «просвещения»: «Начатая при Петре I перестройка моделей поведения, касавшаяся в первую очередь служилого сословия (очередь других придет потом), не могла состояться и укорениться без существенных усилий: следовало в буквальном смысле устанавливать дисциплину, грозить карами и сулить награды, воспитывать с самого раннего возраста. <...> Целью образования по западному образцу было усвоение новых ценностей вкупе с новыми знаниями и формами поведения» (Raëff 1991, 107–108). В трактате Пуфендорфа «О должности человека и гражданина» «учения публичные» причислялись к политическим прерогативам «высочайшего правительства»:

<...> понеже <...> зело не многие собственным умом правильно и честно рассуждати могут: Того ради во граде надлежит, да бы тое учениями объявлено было, что правилному концу и употреблению во градах приличествует, и да бы умы гражданов измлада в том обучаемы были. А кто таковых учении во граде учить явственно, могл бы быть достоин? о том определять высочайшего повелительства есть дело <...> (Пуфендорф 1726, 418–419).

В этих видах создавались главные педагогические учреждения послепетровского времени – Академия наук (1725), Сухопутный шляхетный корпус (1732) и Московский университет (1755; см.: Федюкин и Лавринович 2015). Основатель Московского университета И. И. Шувалов писал в записке о «воспитании юношества», что первая задача дворянского

образования – «вселенная учением к отечеству должность» (Шувалов 1867, 71). Академия наук, основанная вскоре после смерти Петра по одобренному им проекту, задумывалась как центральный орган государственного просвещения и перевоспитания подданных (см.: Gordin 2000; Ospovat, в печати). Саксонский дипломат писал в 1743 г., что Петр учредил Академию «для насаждения чужеземных нравов» («zu Fortpflanzung fremder Sitten» – Сб. ИРИО 6, 480). Х. Гросс, занявший в новоучрежденной Академии кафедру нравственной философии, а затем сделавший придворную карьеру в качестве наставника детей вице-канцлера А. И. Остермана и секретаря брауншвейгского посольства, в своих лекциях (1732–1736) вслед за Пуфендорфом обосновывал государственную пользу образования и включал его в сферу непосредственного ведения абсолютного монарха:

Das Recht und die Pflicht wegen guter Erziehung und rechter Unterweisung der Jugend ist seine Gewalt und Schuldigkeit, alles dasjenige in dem gemeinen Wesen zu verordnen, wodurch den Verstand der Untertanen und denen zur gemeinschaftlichen Glückseligkeit nötigsten Künsten und Wissenschaften gezieret, der Wille durch Tugend-Übungen gebessert <...> Weil die Wohlfahrt des gemeinen Wesens entsteht aus den guten Taten der Untertanen. Diese aber urteilen und tun, wie sie in ihrer Jugend unterwiesen werden; so ist leicht zu erkennen, daß dieses Recht, welches die Anordnung guter Auferziehung und Unterweisung der Untertanen betrifft, wann es recht verwaltet wird, dem gemeinen Wesen herrlichen Nutzen schaffen könne.

[Право и обязанность доброго воспитания и подобающего наставления юношества входит в его полномочия и должность, все то в государстве обустраивать, чем разум подданных и необходимые к их общественному благополучию искусства и науки украшаются и воля упражнениями в добродетели воспитывается. <...> Ведь благополучие государства возникает из добрых дел подданных. Они же судят и поступают, как их научили в юности; так что легко понять, что это право, касающееся устройства воспитания и наставления подданных, при правильном распоряжении может принести государству величайшую пользу.] (Цит. по: Grasshoff 1966, 48)

В 1731 г. ученики Академической гимназии поднесли императрице Анне Иоанновне латинскую оду, в которой «разум» и «науки» восхвалялись как инструмент общественной дисциплины и государственного правления. Эта ода сохранилась, в частности, в переводе Кантемира:

Народами той же Разум управляет,
Преступающих же с злочинств достягает,
Он царства правит. <...>
Есть бо уму врожденно
Науки искати, которых советом
И действием свирепство народ усмирено
Много бывает, и теми правы
Насаждаются, нам в пользу, нравы.

(Кантемир 1956, 211–212)

На фоне такого рода идей, как указывает Раев, следует рассматривать русское книгоиздание первой половины XVIII в., в котором не последнее место принадлежало компендиумам практической морали, формировавшим облик подданных в соответствии с потребностями послепетровской государственности (см.: Raeff 1991, 102–104, 107–109). По словам Живова,

«в условиях петровской культурной реформы, воплощавшейся в последовательной и массовой индоктринации» подданных, литературные тексты «делаются средством перевоспитания дворянского общества» (Живов 2002а, 562). В. Н. Татищев, практик-администратор петровской складки, в 1748 г. напоминал о том, «сколько книг и к распространению наук и как науки к просвещению людей и пресечению безумных суеверств и вредных рассуждений, а к приобретению великой государственной пользы потребно и нужно» (Татищев 1990, 336).

При жизни Петра ряд переводных наставительных публикаций был открыт такими изданиями, как «Юности честное зерцало». Приведенное выше замечание Татищева относилось к издательской деятельности Академии наук, наследовавшей петровским начинаниям; в первые десятилетия после смерти Петра ей почти полностью было вверено русское гражданское книгопечатание. Нравоучительное книгоиздание при Академии особенно оживилось к началу елизаветинского царствования. В 1737 г. вышла приписывавшаяся Ф. Фенелону «Истинная политика знатных и благородных особ» в переводе Тредиаковского; в 1741 г. увидел свет «Придворной человек» Б. Грасиана в переводе С. Волчкова. В елизаветинские годы оба этих руководства появились вторично – «Истинная политика...» в 1745 г., а «Придворной человек» в 1760 г. Кроме того, при жизни Елизаветы Волчков трижды (в 1747, 1759 и 1760 гг.) выпустил перевод приписывавшегося Ж. Б. Морвану де Бельгарду «Совершенного воспитания детей», «Науку щастливым быть» некоего William de Britaine (1759) и первый том «Светской школы...» Э. Ленобля (1761). В 1743 г. Волчков поднес наследнику престола Петру Феодоровичу рукописный перевод книги Бельгарда «Истинной христианин и честной человек», напечатанный затем в 1762 г. «Юности честное зерцало», четырежды изданное в 1717–1723 гг., было вновь выпущено Академией в 1740 и 1749 г. Такого рода литература пользовалась высочайшим покровительством: так, русскую версию книги Грасиана лично одобрила к печати Анна Иоанновна (см.: МИАН IV, 423).

Академию первой половины XVIII в. не стоит представлять устоявшимся ведомством, проводившим самостоятельную политику. Как показал Саймон Веррет, положение Академии в послепетровские десятилетия было шатко, ее существование часто находилось под угрозой и зависело от поддержки влиятельных патронов при дворе (см.: Werrett 2000; Werrett 2010). В этом отношении Академия была, конечно, «вспомогательным учреждением», действовавшим «при дворце» (Гуковский 1936, 13). По устойчивой европейской традиции президентами Академии с момента ее основания становились члены придворного общества, выступавшие покровителями ученой деятельности и направлявшие ее от имени двора. Связь между двором и Академией могли осуществлять и другие просвещенные царедворцы; в начале 1730-х гг. эту роль какое-то время исполнял Татищев, затем фельдмаршал Б. Х. Миних, а в начале 1740-х гг. кн. Н. Ю. Трубецкой.

В середине 1740-х гг., вскоре после воцарения Елизаветы, произошло некоторое оживление придворного интереса к «наукам» и Академии. В 1746 г. на должность президента Академии, долгое время пустовавшую, был назначен гр. К. Г. Разумовский, брат тогдашнего фаворита А. Г. Разумовского. В 1747 г. Елизавета торжественно даровала Академии устав; этот факт был отмечен фейерверком в Гостилицах, имении фаворита, и знаменитой одой Ломоносова, поднесенной императрице от имени Академии. В следующем году Елизавета по представлению Разумовского пожаловала Ломоносову, его прямому подчиненному, две тысячи рублей в награду за оду; об этом сообщали «Санктпетербургские ведомости» (см.: Билярский 1865, 118).

Юный президент принадлежал к довольно узкому кругу елизаветинских вельмож, о которых Ломоносов писал в 1746 г. в посвящении к переводу «Волфианской экспериментальной физики»: «<...> знатных военных, статских и придворных особ беседы редко проходят, чтобы при том о науках рассуждения с похвалою не было» (Ломоносов, I, 421). Это посвящение адресовано М. Л. Воронцову, бывшему камер-юнкеру Елизаветы, получившему в 1744 г. пост вице-

канцлера, а еще десятилетие спустя, в 1758 г., – канцлера. В 1743 г. Кантемир, в то время русский посланник в Париже, обращался к Воронцову с просьбой представить его стихи императрице и так объяснял свой выбор: «<...> прошу извинить меня, что я сими безделками вам докучаю. На то я отважился по словам господина Шетардия, который мне изъяснил, сколь вы к наукам и к чтанию охотники» (АВ I, 358). Охоту к чтению Воронцов разделял с К. Разумовским и с другим бывшим камер-юнкером Елизаветы – Н. И. Паниным, с 1747 г. послом в Дании и Швеции, с 1760 г. – воспитателем вел. кн. Павла Петровича. В 1748 г. Воронцов высылал Панину в Стокгольм сочинения Ломоносова и Тредиаковского вместе со своими «великодушными рефлексиями» о них (АВ VII, 459–461), а в 1757–1760 гг. сообщал К. Разумовскому в Глухов французские литературные новинки (см.: АВ IV, 427–449). В 1740-х гг., до возвышения И. Шувалова в конце 1749 г., именно они – вместе с кн. Н. Ю. Трубецким – составляли, по словам Гуковского, «вельможную группу, командовавшую литературой». Гуковский называет их «орудиями „меценатской“ деятельности центральной власти» (Гуковский 1936, 10). Это не совсем так: на деле они входили в ту высшую придворную и чиновную страту, которая, собственно, и отправляла «центральную власть». Вице-канцлер Воронцов и генерал-прокурор Сената Трубецкой принадлежали к первым сановникам империи.

Осуществлявшаяся под придворным покровительством книгоиздательская политика Академии, от имени правительства адресовавшаяся всему российскому дворянству, фактически направлялась культурными потребностями и представлениями немногочисленного круга высокопоставленных «охотников к наукам и к чтанию». Сама императрица, надо думать, отчасти разделяла культурный узус этого круга; однако, лишь изредка вмешиваясь в дела книгоиздания и словесности, она не брала на себя деятельной роли и только подкрепляла своим авторитетом действия приближенных. Именно так нужно расценивать издательские начинания Разумовского. В январе 1748 г. от высочайшего имени он отдал в Академию приказ, формулировавший елизаветинский извод унаследованной от Петра издательской программы:

Всепресветлейшая державнейшая государыня императрица Елисавет Петровна Самодержица Всероссийская имянным своим изустным указом всемилостивейше повелеть мне соизволила стараться при академии наук переводить и печатать на русском языке книги гражданския различного содержания, в которых бы *польза* и *забава* соединена была с пристойным к светскому житию нравоучением <...> (Билярский 1865, 277).

Какого рода «книги <...> различного содержания» имелись в виду, можно заключить из более конкретных инициатив Разумовского. Еще в конце 1747 г. Академия выпустила в свет роман Фенелона «Похождение Телемака, сына Улисса» в переводе А. Ф. Хрущева «по ордеру Академии наук президента графа Кириллы Григорьевича Разумовского, которому объявлен от ее императорского величества именной указ о напечатании книги Телемака сына Улисса» (Ломоносов, XI, 211–212). Через несколько дней после январского указа 1748 г. Разумовский велел Тредиаковскому перевести «книгу, называемую „Аргенис“ Баркляйя, на российский язык» (МИАН IX, 60; по признанию самого Тредиаковского, его переводу «Аргениды» поспособствовали к тому же двое других молодых царедворцев – «новые наши <...> Пилад и Орест», то есть, по всей видимости, И. Г. Чернышев и И. И. Шувалов – Аргенида 1751, I, LVII–LVIII, CIV; Васильчиков 1880, 178). Как видно, указ 1748 г. вводил художественную словесность в канон высочайше одобренной книжности, наставляющей «к светскому житию». Апологию нравоучительных «вымыслов», в том числе романов Баркляя и Фенелона, содержит «Краткое руководство к красноречию...» (далее – «Риторика») профессора Академии Ломоносова, сданное в печать в начале 1747 г. и вышедшее летом 1748 г.:

Вымыслы разделяются на чистые и смешанные. Чистые состоят в целых повествованиях и действиях, которых на свете не бывало, составленных

для нравоучения. Сюда надлежат <...> из новых – Барклаева Аргенида, Гулливерово путешествие по неизвестным государствам и большая часть Еразмовых разговоров. Французских сказок, которые у них романами называются, в числе сих вымыслов положить не должно, ибо они <...> в самой вещи такая же пустошь, вымышленная от людей, время свое тщетно препровожающих, и служат только к развращению нравов человеческих и к вящему закоснению в роскоши и плотских страстях. Смешанные вымыслы состоят отчасти из правдивых, отчасти из вымышленных действий, содержащих в себе похвалу славных мужей или какие знатные, в свете бывающие приключения, с которыми соединено бывает нравоучение. Таковы суть: Гомерова Илиада и Одиссея, Виргилиева Енеида, Овидиевы Превращения и из новых – Странствование Телемаково, Фенелоном сочиненное.

Возникшая по ходу набора вторая редакция этого рассуждения еще лаконичнее и яснее формулировала такой взгляд на задачи литературы «вымыслов»:

Повестью называем пространное вымышленное чистое или смешанное описание какого-нибудь деяния, которое содержит в себе примеры и учения о политике и о добрых нравах; такова есть Барклаева Аргенида и Телемак Фенелонов (Ломоносов, VII, 222–223).

Нужно полагать, что мнения Ломоносова соотносились со вкусами его придворных читателей – «Риторика» вообще имела успех среди петербургской публики и хорошо продавалась. В частности, вскоре по выходе она заслужила похвалу Татищева (см.: Татищев 1994, 342).

Формулируя в приведенных абзацах общий взгляд на изящную словесность, Ломоносов рассматривает и дифференцирует ее с точки зрения социальных практик, стоящих за практиками чтения. Два типа романов соответствуют двум модусам социального существования. «Французские сказки» плохи тем, что «служат <...> к вящему закоснению в роскоши и плотских страстях»; иными словами, чтение их сопутствует праздному досугу. Нравоучительные романы хороши потому, что содержат «примеры и учения о политике и о добрых нравах». «Политикой» в языке этого времени именовалась, по определению Татищева, «мудрость гражданская» (Татищев 1979, 119) – знание государственных дел. «Аргенида», по уже знакомому нам определению Пумпянского, представляла собой «полный свод абсолютистской морали» (Пумпянский 1983, 6).

Именно эту социально конкретизированную «абсолютистскую мораль» ломоносовская «Риторика» подразумевала под «добрыми нравами». В параграфе 25 Ломоносов предлагает образцовую тему: «неусыпный труд препятства преодолевает». Исходный тезис распространяется далее при помощи таких «идей», как «утро, в которое неусыпный человек рано встает», а также «богатство, которого неусыпный желает, или честь, которая его побуждает», «свободный доступ к знатным», «власть, похвала» и даже (в черновом варианте) «орден». Успешному трудолюбию противостоят «леность» и «гульба», а главную из преодоленных им тягот составляет «война» (Ломоносов, VII, 110–115). Этот пример риторического развертывания мог опираться на II сатиру Кантемира «На зависть и гордость дворян злонравных», в числе прочих сочинений присланную автором в Академию в начале 1740-х гг. Кантемир разрабатывал тот же контраст между досужей роскошью и службой, истинным предназначением дворянина:

Пел петух, встала заря, лучи осветили
Солнца верхи гор – тогда войско выводили
На поле предки твои, а ты под парчою,
Углублен мягко в пуху телом и душою,

Грозно соплещь, пока дня пробегут две доли;
Зевнул, растворил глаза, выпался до воли,
Тянешься уж час-другой, нежишься, сжидая
Пойло, что шлет Индия иль везут с Китая <...>

(*Кантемир 1956, 71*)

Постулаты государственной этики, в том числе антиномия службы и досуга, служили фоном для социальной легитимации словесности (см.: Степанов 1983). В 1748 г. несколько человек из высшего круга, среди них Н. Панин, оплатили издание «Разговора... об орфографии...» Тредиаковского; посвящая им «Разговор», Тредиаковский писал:

Вам невозможно не быть благородныя крови Особам: знаменитейшаго воспитания сердца обыкновенно бывают чувствительнее к такому увеселению, которое производит просвещенная добродетель, неумеющая сама никогда корытоваться, а всегда готовая служить законной ближних пользе (Тредиаковский 1748, 4–5, без паг.).

Эти строки суммируют репутацию литературы в придворном обществе. Утверждение о том, что особы «благородной крови» и «знаменитейшего воспитания» составляют лучшую аудиторию словесности, апеллирует к определенному взгляду на аристократию. Тот извод европейской дворянской этики, который импортировался в Россию Петром и его преемниками, рассматривал образованность как важное обоснование сословных привилегий (см.: Stichweh 1991). В переведенной Тредиаковским «Истинной политике знатных и благородных особ» говорится: «<...> те, которые превосходят других своею породою, или достоинством, должны служить их превысить и высокостию своего знания» (ИП 1745, 20–21). А. Л. Шлецер, наблюдавший петербургские нравы на рубеже 1750–1760-х гг., сообщает: «Петр I убедил своих подданных, что современный мир должен управляться учеными знаниями; и действительно, при нем началось литературное образование среди его гражданских и военных чиновников» (Шлецер 1875, 253–254)¹. Освященная именем Петра программа дворянского просвещения делала культурное потребление («науки») элементом социальной дисциплины и соответствующим образом регулировала практики чтения.

¹ Под «литературным образованием» Шлецер понимает, конечно же, не чтение изящной словесности, но всякое книжное знание.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.